

## ПРЕДИСЛОВИЕ

«Чистые поэты» или «чистые прозаики», не отступающие в жанр критики, всегда вызывают у меня недоверие. Возникает чувство, что ничего они вокруг не замечают, живут в своем стеклянном шаре, мысленно (именно мысленно) общаясь лишь с Бродским или Достоевским, с Тютчевым или Рубцовым, Пастернаком...

Редкие «кухонные разговоры» о литературе чаще всего демонстрируют, что они, «чистые», читают, знают, замечают, анализируют, высказывают очень интересные и верные суждения о своих современниках, предшественниках, классиках.

Я не обладаю даром интересно рассказывать о литературе вслух, не умею анализировать внутри головы. Для того чтобы поделиться своими впечатлениями, в чем-то разобраться, мне нужна ручка, бумага. Еще в детстве я пытался формулировать впечатления о прочитанной книге в тетрадке, а много позже стал писать нечто вроде рецензий, обзорных статей, которые, к моему удивлению, с готовностью брали в литературной периодике.

Существует устоявшееся мнение, что мы — наследники Пушкина, Толстого, Чехова. Но для меня очевидно, что русская литература XIX века камнеет, бронзовеет, сдается в архив. Пишущие романы и повести, стихи, пьесы, кажется (по крайней мере, возникает и не исчезает такое ощущение), не открывают так называемых классиков, — их книги стоят на полках как памятники. Господствует мнение, что как бессмысленно копать в статуях, стоящих на площадях, так же бесполезно и открывать книги, исследованные, изученные до последнего слова сотнями тысяч людей десятков предыдущих поколений. Классика отдана литературоведам...

Был такой замечательный проект — «Литературная матрица». Очерки современных поэтов и прозаиков о писателях прошлого. Совсем другой, часто неожиданный, удивительный взгляд на вроде бы устоявшееся, давно решенное историками литературы, профессорами филологии... Вышло четыре тома; проект вроде бы закрыт. Правда, на мой взгляд, не хватило еще одного тома — очерков поэтов и прозаиков о своих современниках. Конечно, рискованно — литераторы, как правило, очень ранимы, — но полезно. И читателям, и самим писателям. Лично я с огромным интересом читаю в старых журналах и газетах слова, например, Передреева о Рубцове,

Евтушенко о первой книге Рейна, Проханова о Маканине...  
Сейчас подобное — редкость.

Тексты, собранные в этой книге, писались в разные годы, но повод написания один — разобраться в сложных чувствах после чтения стихотворений Державина, статей Белинского, романа «Тысяча душ» Писемского, рассказов Екимова, очерков 60-х годов Распутина, произведений моих литературных сверстников... Что-то мне в итоге удалось себе объяснить, может быть, в чем-то эти очерки помогут разобраться и тем, кто откроет мою «Конгревову ракету».

## Я ПИИТ — Я НЕ УМРУ

### О Державине

Слова поэта и критика Аполлона Григорьева «Пушкин — наше все», произнесенные в середине позапрошлого века, считаются бесспорными, своего рода истиной отечественной литературы.

Действительно, с Пушкина, по существу, началась наша словесность на современном русском языке, у Пушкина намечены темы, приемы, мотивы, интонации, которые последующие поколения писателей развивают, разрабатывают на протяжении уже почти двухсот лет. И если время от времени Пушкина пытаются «сбросить с парохода современности» (а это началось отнюдь не с футуристов в начале двадцатого столетия, можно вспомнить, что творчество Пушкина призывал сдать в архив еще Белинский в статье «Литературные мечтания», опубликованной 1834 году, при жизни Александра Сергеевича), то эти попытки в итоге лишь доказывали необходимость и свежесть того, что Пушкин создал.

Да, «Пушкин — наше все», но не стоит считать, что до него ничего не было. Это не так.

Не буду сейчас погружаться в глубь веков, в эпоху древнерусской и вообще допетровской литературы. Тем более что многие из ее образцов Пушкину и его старшим современникам знакомы не были — изучение, расшифровка древних текстов в начале XIX века лишь зарождались. Можно отметить, что «Слово о полку Игореве» было впервые опубликовано в 1800 году, «Житие протопопа Аввакума» — в 1861-м. Русский фольклор тоже лишь начинал привлекать к себе внимание.

В общем, русская литература в XVIII веке возникла, по существу, на пустом месте. (Наверняка здесь кто-нибудь вознегодует; я отобьюсь утверждением Пушкина, кроме всего прочего автора статьи о «Слове о полку Игореве»: «Словесность наша явилась вдруг в XVIII веке».) Оригинальных произведений мы поначалу почти не видим — было, конечно, много переводов, переложений западноевропейских образцов, но и тогда перед литераторами встала проблема, на какой язык эти образцы переводить, перекладывать.

Тот век изобиловал спорами, дискуссиями между писателями, а то и беспощадными войнами с драками, доносами, уголовными делами. Каждый из тех, кто занимался

литературой, в первую очередь стихотворством, был и теоретиком литературы, критиком, идеологом. Например, у монаха-литератора Феофана Прокоповича, жившего в годы правления Петра I, есть огромный трактат «О поэтическом искусстве»... Примечательно, что трактат этот был написан на латыни (и в переводе читается легко и местами представляется до сих пор актуальным), попытки же Феофана сочинять стихотворения и трагедии на русском кажутся нам откровенной тарабарщиной. Тем не менее и там есть некоторые штрихи живого, которые последователи Феофана Прокоповича стали развивать и в то же время оспаривать, двигая тем самым литературу дальше.

Наверняка мало кто читал, но наверняка большинство слышали фамилии — Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Херасков («ласков — Херасков — неожиданная рифма», — с иронией заметил однажды Пушкин). Это пятерка крупнейших литераторов XVIII века. Почти всего века... Впрочем, они — лишь вершина айсберга. Литераторов на самом-то деле уже тогда было очень и очень много. Читать их произведения действительно тяжкий труд да и вряд ли благодарный. От этого чтения можно заболеть физически, к тому же немудрено утратить вкус к литературному слову, заразиться грамматикой того времени.

Но чтобы понять, как наша литература рождалась, как и через что пробиралась она к Пушкину, хрестоматии полистать стоит. Особенно интересно, по-моему, предисловие Тредиаковского к роману «Езда в остров любви» (это перевод с французского, но очень вольный), написанное в 1730 году. В предисловии писатель заявляет, что в «мирской книге», каковым является роман, «славенский (церковнославянский. — *Р. С.*) язык» неуместен, так как «славенский у нас есть язык церковный», к тому же он «очюнь темен, и многие его не разумеют». Литературным языком Тредиаковский призывает считать «российский язык», «каковым мы меж собой говорим».

Да, мысль смелая и прогрессивная, но воплотить ее в жизнь оказалось сложно. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы литература на «российском языке» перестала быть «очюнь темной»... Впрочем, литература среднего и низкого «штилей» (жанров) — сатира, лирические стихотворения, комедии, басни, эпиграммы — уже под конец XVIII века была вполне читабельной. А вот героические поэмы, оды — литература высокого штиля — долго оставалась «очюнь темной». По существу, и у Пушкина есть

стихотворения, читать которые сложно, да и в современной поэзии мы можем найти следы этого высокого штиля. К примеру, у Иосифа Бродского, Александра Кушнера...

Теория трех штилей принадлежит Михаилу Ломоносову и заключается в правиле употребления разных слов в произведениях разного штиля. Стоит отметить хотя бы одно правило оттуда: разговорные слова в героической поэме запрещались строго-настрого. И правило это хоть и нарушалось, но в теории было незыблемо еще во времена Пушкина. Александру Сергеевичу здорово попало от ценителей поэзии за смешение штилей. «Разве так мог разговаривать русский богатырь?!» — возмущались критики, захопывая поэму «Руслан и Людмила». «Лучше свобода и ошибки, чем чопорная наша правильность», — отвечал Пушкин.

С одной стороны, теория Ломоносова о трех штилях была закономерной — тогда, в середине XVIII века, необходимо было создать некую основу для дальнейшего развития языка, жанров. С другой стороны, жесткие рамки, в которые эта теория заключала не только жанры, но и пласты русского языка, тормозили это самое развитие. Особенно в серьезной поэзии. Мы легко можем увидеть, как литераторы умышленно уродуют слова, фразы, чтобы подогнать их под тот или иной поэтический размер, пытаются воскресить слова мертвые, искусственно облагородить просторечные...

Русскую поэзию в ту эпоху стремились сделать наукой (впрочем, подражая в этом еще древним грекам), убивая тем самым живые ноты.

Стихотворцы, — писал пусть не самый талантливый, но, на мой взгляд, особенно остро чувствующий необходимость дать поэзии больше свободы, литератор того времени Сумароков, — которые, следуя единым только правилам, а иногда и единому желанию ползти на Геликон, нисколько не входя в страсть и ничего того, что им предложит, не ощущая, пишут только то, что им скажет умствование или невежество, не спрашивая с сердцем или паче не имея удобства подражать естеству простоте, что всего писателю труднее, кто не имеет особого дарования, хотя простота естества издали и легка кажется. Что более стихотворцы умствуют, то более притворствуют, а что более притворствуют, то более завираются.

Впрочем, попытки Сумарокова написать нечто серьезное, приводили к комичным результатам. И недаром еще при

жизни он прослыл беспомощным графоманом...

Все это я привел для того, чтобы показать, в какой среде появился наш герой и, как мне кажется, самый крупный предшественник Пушкина Гавриил Романович Державин. (В последние десятилетия в литературоведение вернулась традиция называть Державина Гаврилой. Но в первых строках автобиографии он величает себя Гавриилом. Этого варианта буду придерживаться и я.)

Некоторые ценители поэзии, кстати сказать, считают Державина пушкинским предшественником лишь формально — они до сих пор оплакивают то, что направление, которое символизировал Державин, вскоре после его смерти зачахло и стало экспонатом в музее русской литературы.

Чтобы вновь не растекаться по древу нашей литературы, скажу по этой теме лишь несколько слов. Несмотря на обилие в первые десятилетия XIX века модных поэтов, люди со вкусом выделяли двух не самых модных: Пушкина и Баратынского. И если Пушкина считали хоть и поразительно одаренным, но ветреным, легким, то Баратынский был, по общему мнению, поэтом-философом, поэтом поистине державинской силы. И как главную похвалу Александру Сергеевичу его друзья восприняли восклицание Баратынского, участвовавшего в разборе пушкинского архива: «Пушкин — мыслитель!» Правда, потом последовало: «Можно ли было это ожидать?» Да, ожидал мало кто — общество было воспитано на иной поэзии, ориентирами были для нее другие поэты.

Образцом поэта в то время был Державин. Уходящая, но величественная натура.

Осталось много прижизненных изображений Гавриила Романовича. На большинстве он изображен в мундире, при орденах. Совсем не поэт, а вельможа, государственный муж. Но и там, где он не в мундире, Державин не менее значителен — чего стоит только портрет Николая Тончи: пожилой, седовласый, красивый мужчина сидит у подножия скалы, на нем огромная медвежья шуба, бобровая шапка, на губах — преисполненная достоинства полуулыбка... Тоже государственный муж, но в редкие минуты отдыха, доброго расположения духа. И лишь последние портреты, где у Державина на голове колпак, на шее платок, в глазах гаснущая жизнь, губы безвольно опущены, показывают, что это некто больше вельможи. Вельможа бы и не согласился позировать в таком виде, а *наперсник муз* — вполне.

Он родился в 1743 году то ли в Казани (как он сам утверждал), то ли в селе Сокуры (именнице родителей) Казанской губернии. По семейному преданию, Державины происходили из древнего татарского рода. В XV веке предок Гавриила Романовича, Багрим-мурза, выехал в Москву из Большой Орды и после крещения, получив имя Илья, поступил на службу к великому князю Василию Темному. У этого Ильи одного из внуков звали Держава. Так появилась фамилия «Державины».

Родители Гавриила Романовича были мелкопоместными дворянами, владели примерно ста пятьюдесятью крестьянами. Отец, секунд-майор Роман Николаевич, умер, когда будущему поэту было лет десять. Вдова осталась с двумя сыновьями почти без средств к существованию, долго судилась с соседом из-за клочка земли. Брала в суд детей...

Недоучившись в гимназии, Гавриил вынужден был поступить на военную службу — рядовым в Преображенский полк в Петербурге. Денег, чтобы снимать жилье, не было, и он жил в казарме вместе с солдатами — вчерашними крестьянами.

Начало его службы совпало с государственным переворотом, в результате которого на престол была возведена Екатерина II. И сцена — императрица на белом коне в мундире Преображенского полка, с обнаженной шпагой в руках — навсегда осталась в памяти Державина. И не только в памяти — позже он не раз обыгрывал этот исторический эпизод в своих стихотворениях...

Военная, а затем гражданская служба Державина пришлись на годы царствования Екатерины, Павла I и начало правления Александра I. В общей сложности больше сорока лет. Лишь осенью 1803 года он был освобожден от государственных постов («уволен от всех дел»). А посты были неслабые — в том числе министр юстиции, генерал-прокурор Правительствующего сената, еще несколько. А до этого Державин участвовал в подавлении восстания Пугачева, был губернатором Олонецкой (нынешняя часть Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей), Тамбовской губерний; занимал пост кабинет-секретаря Екатерины II, президента Коммерц-коллегии (так сказать, главный по торговле)...

Я не буду подробно описывать яркую и противоречивую (бывал и жесток, и добр, выступал то реформатором, то консерватором), сложную («даже подвергаем под суд»), как и сама та эпоха, биографию нашего героя. О Державине

написано много. Советую, например, недавно изданную в серии «Жизнь замечательных людей» книгу Арсения Замостьянова «Гаврилы Державин: Падал я, вставал в мой век». А лучше всего, собравшись с духом, прочитать длинную, подробную автобиографию Державина — «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».

Впрочем, о себе и своем времени лучшего всего сказал уже на закате земного пути Державин стихами... Приготовься, читатель, встретить незнакомые слова, непривычные обороты, неправильные ударения — все-таки написано это два с лишним столетия назад. Но прочитай, не пропусти.

Не умел я притворяться,  
На святого походить,  
Важным саном надуваться  
И философа брать вид:  
Я любил чистосердечье,  
Думал нравиться лишь им,  
Ум и сердце человекье  
Были гением моим.  
Если я блистал восторгом,  
С струн моих огонь летел.  
Не собой блистал я — богом;  
Вне себя я бога пел.  
Если звуки посвящались  
Лиры моя царям, —  
Добродетельми казались  
Мне они равны богам.  
Если за победы громки  
Я венцы сплетал вождям, —  
Думал перелить в потомки  
Души их и их детям.  
Если где вельможам властным  
Смел я правду брякнуть вслух, —  
Мнил быть сердцем беспристрастным  
Им, царю, отчизне друг.  
Если ж я и суетою  
Сам был света обольщен, —  
Признаюсь, красотою  
Быв плененным, пел и жен.  
Словом, жег любви коль пламень,



Падал я, вставал в мой век.  
Брось, мудрец! на гроб мой камень,  
Если ты не человек.

Это стихотворение — «Признание», — на мой взгляд, один из первых примеров исповедальной лирики в русской литературе. Современники знали Державина в первую очередь как автора многочисленных од — торжественных, патетических стихотворений, посвященных великим событиям и героям, — но он был прежде всего лирик, причем в лирических своих стихотворениях и в иронических миниатюрах не забывал пофилософствовать. Точнее, не забывал о мысли. И не боялся, в отличие от большинства своих собратьев по перу, авторского «я». А это было в то время рискованно.

Вообще здесь стоит остановиться на том, кто был поэт двести двадцать — двести пятьдесят лет назад. «Пиита», «пиит», как тогда часто называли стихотворцев.

Нам сегодня очень сложно представить поэта-мэра, поэта-депутата, губернатора, вообще чиновника, поэта-физика... Нет, рифмуют многие (например, бывший спикер Государственной думы Борис Грызлов однажды взял и написал футбольный марш под названием «Россия, вперед! Настал наш черед!», который, правда, быстро забылся), но это воспринимается как хобби или причуды сильных мира сего. А в XVIII веке поэт-вельможа, поэт-ученый были в порядке вещей, а свободных поэтов — поэтов без других занятий — почти не встречалось. Поэт должен был где-то служить.

Вспомним, что Александр Сергеевич Пушкин большую часть взрослой жизни находился на службе: с 1817-го до 1824 года — в Коллегии иностранных дел (отставлен за атеизм и отправлен в ссылку в Михайловское); с 1831-го до смерти в 1837-м был историографом, а 1833 году ему было присвоено придворное звание камер-юнкера (комнатного молодого человека). К счастью, во времена Пушкина обязанность литературно одаренным людям писать государям и непосредственным начальникам оды ушла в прошлое.

Пушкиным, кстати сказать, записано немало историй («анекдотов») о своих предшественниках-поэтах. Есть и такая: «Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал оду у придворного пииты Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного стихотворца».

Можно продолжить цитатой из очерка Николая Некрасова «Петербургские углы»:

Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того во время его походов всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли, и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина... — И еще оттуда точное замечание: — Пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение.

Видимо, о таких поэтах написано, пожалуй, самое известное сегодня стихотворение Державина (благо коротенькое):

Поймали птичку голосисту  
И ну сжимать ее рукой.  
Пищит бедняжка вместо свисту,  
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

Да и сам Державин если и не писал оды по прямому приказу (а написано им в этом жанре предостаточно), то уж нередко по расчету — наверняка. В его время талантливо сочиненная, вовремя представленная ода могла стать для неизвестного человека отличным толчком для карьеры.

Так, по существу, случилось и с Державиным. В 1783 году (в сорок лет, между прочим) он опубликовал оду «Фелица», от которой императрица Екатерина II, по ее собственному признанию, «как дура плакала», а потом отправила виновнику сладких слез осыпанную бриллиантами табакерку с червонцами. И хоть врагов и завистников у чиновника-поэта из-за этого только добавилось, но взгляд Екатерины его больше уже не терял. Как, добавим, и позже взгляд ее сына Павла (которому Державин еще в 1773-м посвятил оду «На бракосочетание великого князя Павла Петровича»), и взгляд ее внука. Тем более Гавриил Романович не давал о себе забыть — вслед за «Фелицей» последовала «Благодарность Фелице», затем — «Изображение Фелицы»... Екатерине посвящено множество его произведений.

Но остановлюсь на «Фелице», которая, бесспорно, является удачей в творчестве Державина. Да и вообще русскую поэзию она двинула далеко вперед. И хотя нередко потом сам Гавриил Романович возвращался к плоской

архаике, но тем не менее это произведение очень сильно раскрепостило и его (уже немолодого человека и высокопоставленного сановника).

«Фелица» — необычная ода. Во-первых, автор обращается к императрице не напрямую, не как некий Гаврила Державин к своей государыне. Очень значим подзаголовок — «Ода к премудрой Киргиз-Кайсацкой царевне Фелице, писанная Татарским Мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге. Переведена с арабского языка». Это можно считать маскировкой, а можно — художественным приемом.

Во-вторых, Державин, кажется, впервые в русской литературе так явно нарушил теорию Ломоносова (которого, впрочем, до конца дней считал своим учителем) о трех штилях, соединив оду с сатирой, влив в нее «забавный русский слог», что позже поставит себе в одну из главных заслуг в стихотворении «Памятник» — «дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить». И не только возгласить о добродетелях, но и пока осторожно (потом, позже, смелее, даже пугая) давать «царям» советы, «говорить истины».

И уже здесь, в этой первой опубликованной под своим именем оде, проявляются мотивы исповеди — если и не автор, то повествователь подробно рассказывает о своей жизни, обращая внимание на недостатки и пороки. Ода длинная, поэтому приведу несколько характерных строк:

...Подай, Фелица! наставленья:  
Как пышно и правдиво жить,  
Как укрощать страстей волненье  
И счастливым на свете быть?  
Меня твой голос возбуждает,  
Меня твой сын препровождает;  
Но им последовать я слаб.  
Мягся житейской суетою,  
Сегодня властвую собою,  
А завтра прихотям я раб.

Мурзам твоим не подражая,  
Почасту ходишь ты пешком,  
И пища самая простая  
Бывает за твоим столом;  
Не дорожа твоим покоем,  
Читаешь, пишешь пред налоем

И всем из твоего пера  
Блаженство смертным проливаешь;  
Подобно в карты не играешь,  
Как я, от утра до утра.

<...>

Таков, Фелица, я развратен!  
Но на меня весь свет похож.  
Кто сколько мудростью ни знатен,  
Но всякий человек есть ложь.  
Не ходим света мы путями,  
Бежим разврата за мечтами.  
Между лентяем и брюзгой,  
Между тщеславья и пороком  
Нашел кто разве ненароком  
Путь добродетели прямой.

<...>

Едина ты лишь не обидишь,  
Не оскорбляешь никого,  
Дурачества сквозь пальцы видишь,  
Лишь зла не терпишь одного;  
Проступки снисхожденьем правишь,  
Как волк овец, людей не давишь,  
Ты знаешь прямо цену их.  
Царей они подвластны воле, —  
Но богу правосудну боле,  
Живущему в законах их.

<...>

Слух идет о твоих поступках,  
Что ты нимало не горда;  
Любезна и в делах, и в шутках,  
Приятна в дружбе и тверда;  
Что ты в напастях равнодушна,  
А в славе так великодушна,  
Что отреклась и мудрой слыть.  
Еще же говорят неложно,  
Что будто навсегда возможно  
Тебе и правду говорить.

Неслыханное также дело,  
Достойное тебя одной,  
Что будто ты народу смело  
О всем, и въявь, и под рукой,  
И знать и мыслить позволяешь  
И о себе не запрещаешь  
И быль, и небыль говорить;  
Что будто самым крокодилам,  
Твоих всех милостей зоилам,  
Всегда склоняешься простить...

А вообще — прочитайте целиком. В первую очередь, это очень забавное, артистичное произведение. И кстати, Екатерина II приняла игру Державина в мурзу и киргизскую царевну: тот ее подарок — драгоценная табакерка — была в пакете, на котором императрица написала: «Из Оренбурга от Киргиз-Кайсацкой царевны Державину».

После успеха «Фелицы» Гавриил Романович в короткое время сочинил еще несколько больших од. В том числе такой философско-поэтический шедевр, как «Бог». Не могу не процитировать две строфы. Поразительные рассуждения для человека той эпохи:

Ты есть! — природы чин вещает.  
Гласит мое мне сердце то,  
Меня мой разум уверяет,  
Ты есть — и я уж не ничто!  
Частица целой я вселенной,  
Поставлен, мнится мне, в почтенной  
Средине естества я той,  
Где кончил тварей ты телесных,  
Где начал ты духов небесных  
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,  
Я крайня степень вещества;  
Я средоточие живущих,  
Черта начальна божества;  
Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я царь — я раб — я червь — я бог!  
Но, будучи я столь чудесен,  
Отколе произошел? — безвестен;  
А сам собой я быть не мог.

Здесь стоит сказать, что ода «Фелица» и последующие произведения, сделавшие Державина главным поэтом того времени, были созданы не вдруг почувствовавшим в себе литературный дар человеком. Если верить самому нашему герою, он стал пробовать себя в писании стихов и в переводах чуть ли не в детстве. К сожалению, ничего из тех опытов не сохранилось — Державин сжег их в марте 1770 года, когда ему было двадцать семь лет.

Какой, казалось бы, романтический жест: уничтожить написанное ранее и начать с чистого листа. Примеров история знает немало. На самом деле, сожжение рукописей имело вполне прозаическую причину.

Дело в том, что, живя в Москве, Державин заболел карточной игрой, погрузился в разврат и пьянство. Почувствовав, что гибнет, он решил вырваться из омута и бросился в Петербург...

Далее дадим слово самому Гавриилу Романовичу (в своих «Записках» он говорит о себе в третьем лице, что в те времена было традицией):

Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было; но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от оногo, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою чрез 20 почти лет намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. Хороши ли они или дурны были, того теперь сказать не можно; но из близких его приятелей кто читал, а особливо Христианина в уединении, Захария, весьма хвалили.

И видимо, сразу по прибытии в Петербург, Державин написал стихотворение «Раскаяние»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?  
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?  
Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?  
Чем грудь мою тебе осталось поражати?

Лишил уж ты меня имения моего,  
Лишил уж ты меня и счастья всего,  
Лишил, я говорю, и — что всего дороже —  
(Какая может быть сей злобы злоба строже?)  
Невинность разрушил! Я в роскошах забав  
Испортил уже мой и непорочный нрав,  
Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился, —  
Повеса, мот, буян, картежник очутился;  
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,  
Порочной жизнью его я погубил;  
Презрен теперь от всех и всеми презираем, —  
От всех честных людей, от всех унижаем.  
О град ты роскошей, распутства и вреда!  
Ты людям молодым и горесть, и беда!  
Москва, хотя в тебе забавы пребывают,  
Веселья, радости живущих восхищают;  
Но самый ты, Москва, уж тот же Вавилон:  
Ты так же слабишь дух, как прежде слабил он.  
Ты склонности людей отравой напояешь,  
Ко сластолюбию насильно привлекаешь.  
Надлежит мрамора крепчае сердцу быть,  
Как бывши молоду, в тебе бесстрастным жить.  
По имени в тебе лишь мужество известно;  
А что порок и срам, то всем в тебе прелестно.  
Безумная тобой владеет слепота,  
Мечтанье лживое, суетств всех суета.  
Блестящие в сердцах и во умах прельщенья  
Под видом доброты сугубят потемненья.  
Ступаю на стези и ими в тму иду.  
Прелестну нету сил преодолеть беду!  
О лабиринт страстей, никак неизбежных,  
Борющихся разумом, но непреодолимых!  
Доколе я в тебе свой буду век влачить?  
Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?  
Покинуть я тебя стократно намеряюсь  
И, будучи готов, стократно возвращаюсь.  
Против желанья живу, живя в тебе;  
Клянуп тебя, и в том противлюсь сам себе.  
Магнитная гора, котора привлекает,  
Живой в тебе пример, Москва, изображает:  
Ты силою забав нас издали влечешь,  
А притянув к тебе, ты крепко нас прижмешь.  
Железо как та рвет, к себе та присволяет,  
В тебе у нас так жизнь именье обирает.

Отдай скорей, прошу, отдай свободу мне,  
И счастья искать не лести в твоей стране:  
Не милы мне в тебе и горы золотые;  
Но токмо б избежать лишь жизни сей мне злая  
И прежнее мое спокойство возвратить,  
И независимость от счастья получить.  
Я сердцем и душой, мне в том сам Бог свидетель,  
Нелестно, что люблю святую добродетель.

Написав это, Державин, что называется, взялся за ум. Стал ревностнее служить, намекая начальству, чтобы не забывали присваивать ему очередные чины, сочинял стихи и переводил уже с прицелом на публикацию. И первая публикация состоялась достаточно скоро — в 1773 году в журнале «Старина и новизна» напечатан перевод с немецкого. Сразу затем — отдельным изданием вышла ода «На бракосочетание великого князя Павла Петровича». В 1776 году была издана книга «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». Правда, все эти издания появились без имени автора. За авторством Державина первым произведением стала «Фелица».

Да, герой наш взялся за ум; впрочем, срывы случались у него не раз. В том числе срывы и действительно рискованные... Выше я упомянул, что после «Фелицы» Екатерина II не забывала о ее авторе, и карьера Державина развивалась стремительно — в 1783 году стал членом Императорской Российской академии, в 1784-м — Олонецким губернатором, в 1786-м — Тамбовским.

И вдруг этот государственный муж публикует такое:

### ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ

Восстал всевышний бог, да судит  
Земных богов во сонме их;  
Доколе, рек, доколь вам будет  
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасти от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,



Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят — и не знают!  
Покрыты мздою очеса:  
Злодействы землю потрясают,  
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,  
Никто над вами не судья,  
Но вы, как я подобно, страстны,  
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,  
Как с древ увядший лист падет!  
И вы подобно так умрете,  
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!  
И их молению внемли:  
Приди, суди, карай лукавых  
И будь един царем земли!

Это стихотворение явилось не результатом частых у поэтов порывов — еще за несколько лет до публикации Державин создал переложение 81-го псалма царя Давида (цитировать псалом не буду, но советую найти, прочесть, сравнить с «Властителями и судиями»; по-моему, общего немного) и даже сумел поместить его в «Санкт-Петербургский вестник». Правда, в последний момент издатели испугались и вырезали стихотворение из уже отпечатанного «Вестника». На этот же раз произведение знаменитого, обласканного императрицей стихотворца напечатали без осложнений. Может, зная благонамеренность автора, редакторы и не вчитывались в суть.

В 1786 году публикация не вызвала шума. Времена тогда стояли относительно спокойные, умеренное вольнодумство было даже в моде.

Гром грянул спустя почти десятилетие. Дело было так. Державин решил издать собрание своих стихотворений и передал Екатерине рукописи. Чтоб оценила. Прошло несколько недель, автор затревожился. А дальше — слово самому Гавриилу Романовичу (напомню, что пишет он о себе в третьем лице):

Наконец, в третье воскресенье решился он спросить Безбородку, говоря: «Слышно, что государыня сочинения его отдала его сиятельству, то с чем, и будут ли они отпечатаны?» Он, услышав от него вопрос сей, побежал прочь, бормоча что-то, чего не можно было выразуметь. Не зная, что это значит, и будучи зван тогда обедать к графу Алексею Ивановичу Пушкину, поехал к нему. Там встретился с ним хороший его приятель Яков Иванович Булгаков. <...> Он спросил его: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» — «Какие?» — «Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен». — «Царь Давид, — сказал Державин, — не был якобинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными». — «Однако, — заключил он, — по нынешним обстоятельствам дурно такие стихи писать». Но гораздо после того Державин узнал от француженки Леблер, бывшей у племянниц его Львовых учительницей, что во время французской революции в Париже сей самый псалом был якобинцами перефразирован и пет по улицам для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI. Как Державин тогда совсем того не знал, то и был спокоен; но, приехав от графа Пушкина с обеда, ввечеру услышал он от посетившего его г. Дмитриева... что будто велено его секретно (разумеется, чрез Шешковского) спросить, для чего он и с каким намерением пишет такие стихи?

Интересно, что глава Тайной канцелярии Степан Шешковский к тому времени больше года как был в могиле. Может быть, Державина подвела память?.. Но так или иначе гром грянул, Державина, правда, не поразил. Ему удалось при помощи остроумной записки доказать, что никаких худых мыслей он не имеет и не имел, а стихотворение «Властителям и судиям» написал из лучших побуждений... Императрица простила его. Правда, речь о собрании стихотворений больше не заходила.

Отделался, можно сказать, легко. Некоторым не повезло. Великая французская революция, начавшаяся в 1789 году, заставила Екатерину подзакрутить гайки. Достаточно вспомнить, что в 1790-м был отправлен в ссылку в Сибирь Радищев (вместо четвертования), в 1792 году заточен в Шлиссельбургскую крепость журналист и издатель Новиков, вскоре туда же поместили вольнодумца Кречетова. Изымалась из продажи посмертно изданная трагедия Якова Княжнина «Вадим Новгородский», лично Екатериной было запрещено издание собрания сочинений Фонвизина... А никто из них вот так прямо не писал:

Воскресни, боже! боже правых!  
И их молению внимли:  
Приди, суди, карай лукавых,  
И будь един царем земли!

Конечно, Гавриил Романович не был революционером. Но он видел много несправедливости, постоянные нарушения закона, воровство, сказочное богатство одних и крайнюю бедность других. В меру своих сил пытался исправить жизнь, но только наживал врагов. И в итоге написана эта «гневна ода». Наверняка Державин надеялся с ее помощью открыть глаза императрице на истинное положение дел, даже припугнув высшей карой заставить «от сильных защитить бессильных».

Это вообще должно быть естественным стремлением любого творческого человека. И даже если плохо абсолютному меньшинству, творческие люди обязаны сделать так, чтобы это меньшинство заметила власть, помогла, «спасла от бед невинных»... Сегодня власть воспринимает критику в свой адрес, акции протеста, в которых нередко участвуют и деятели культуры, литераторы, как выступления врагов России, пятой колонны, нацпредателей. По-моему, это не так. Скорее, критиковать власть, участвовать в протестных митингах, шествиях творческую интеллигенцию заставляет желание справедливости, пусть и невозможной ни в каком обществе, ни в одном государстве... К сожалению, мало сегодня произведений литературы, подобных «Властителям и судиям»... Да и вообще слово сегодня маловесно, а жаль — к слову «земным богам» стоило бы прислушиваться, в противном случае неуслышанное слово способно превратиться в действие. А Державин в своем стихотворении, как ни крути, как ни оправдывайся, и призывает к действию...

Чтобы смягчить впечатление, вызванное «Властителям и судиям», Державин написал стихотворения «Колесница» и «На панихиду Людовика XVI», где осуждал революцию и цареубийство, но в то же время продолжил разрабатывать тему «гневной оды»:

По смерти не возьмет с собою  
Никто вещей своих драгих,  
Блаженной жизнью здесь святою  
Блажится меж духов благих:  
А естели здесь не освятится

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)